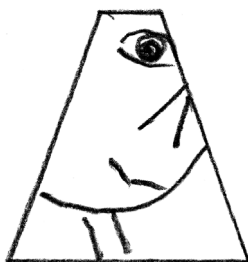


РУССКИЙ
ГУЛЛИБЕР



Владимир Губайловский

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Москва

2008

Поэтическая серия «Русского Гулливера»

Руководители проекта Вадим Месяц

Главный редактор серии Андрей Тавров

Оформление серии Маргарита Каганова

Владимир Губайловский

Судьба человека. Книга стихотворений / Серия «Русский Гулливер»;
М.: Центр современной литературы, 2008 – 104 с.

ISBN 978-5-91627-013-6

© Губайловский В., 2008

© Иличевский А., предисловие, 2008

© «Русский Гулливер», 2008

© Центр современной литературы, 2008

об авторе

Владимир Губайловский (родился в 1960 г.) — поэт, критик, эссеист. Окончил мехмат МГУ им. Ломоносова, по специальности дискретная математика. Почти 20 лет работал программистом. В настоящее время — заведующий отделом критики и публицистики журнала «Новый мир». Первое стихотворение опубликовано в 1985 году. В 1993 году в издательстве «ИМА-Пресс» вышла первая и единственная книга «История болезни». Стихи публиковались в «Новом мире», «Дружбе народов», «Арионе» и других периодических изданиях. Лауреат премии журнала «Новый мир» (2001 г.).

предисловие

Говорить о любимом поэте так же сложно, как о мире. Способ выражения о нем осложнен не только объемом смысла, но едва ли не более — опасностью банальности.

Есть стихи, которые растут как водоросли, подвешенные в пустоте, питающиеся взвесью, — но не у Губайловского. Поэзия Губайловского похожа на симфонию потому, что каждое следующее стихотворение укоренено и произрастает из языковой почвы, обогащенной предыдущими.

В стихах есть драматическая непрерывность развития темы.

Математическая ясность, текучая связность и будоражащая парадоксальность. Пронзительная горечь, чуткость, ум и изощренная взвешенность первого лица. Просодия, насыщенная и размеренная могучим временем живого, божественного, страшного и безумного Языка. Правое полушарие поэта, через кульбит кладущее на обе лопатки левое — математика. Кристальная сложность, так непохожая на глубокую простоту.

Как выпускник мехмата МГУ — поэт прекрасно знает, что такое новая информация. Как целое невычислимо становится больше, чем прямая сумма строк, его, это целое, составляющих. Знает настолько хорошо, что чтение его поэзии приучает с каждым новым стихотворением, ведущим по своему пространству легко и свободно, все время быть начеку, знать, что очевидная прозрачность слов ближе к концу стихотворения приобретет уникальную оптическую форму, через которую ударит луч, сдвигающий твое собственное место предстояния, выводящий в состояние неравновесности, выход из которого непредсказуем.

«Шел июльский дождь, слепой и теплый, как грудной котенок», — говорит поэт в одном из самых страшных своих стихов.

Частный опыт отдельно взятого существования — меры ноль в метрическом пространстве вечности — сжат и посеян в Русском Языке — как хлебное зерно.

Александр Иличевский

* * *

*Судьба человека состоит:
из пройденного пути,
последнего шага
и троичного выбора:
остаться на месте,
сползая в зыбучий песок,
сделать еще один шаг,
труднейший, чем предыдущий,
или прервать путь.*

ЗАНЯТИЯ ФИЛОСОФИЕЙ

*...люди, которым нечего сказать,
но которые делают вид, что говорят нечто,
выражают это в поэтической форме,
как, например, Эмпедокл.
Аристотель Стагирит. «Риторика»*

* * *

Припомни свое опустевшее детство.
Немного растерянно пробормочи:
Что, милый, тебе перепало в наследство?
Пронзительный запах кошачьей мочи.
Колени и локти в порезах и цыпках,
и след от шнуровки мяча на лице.
Мне это сыграют на ангельских скрипках,
Мне именно это сыграют в конце.

ДОРОГА НА СПАССК

Снег выпал ровно на Покров.
Еще листва не облетела,
и по снегу она желтела
под розой северных ветров.
И я на тракторной тележке
повез дубовые полешки
и два куба сосновых дров.

Снег выпал ровно на Покров.
Мороз, как следует, ударил.
Старушке я дрова запарил.
Опохмелился будь здоров.
Не сам, с ребятами, конечно.
Напарник мой – мудила грешнай,
как пионер, всегда готов.

Снег выпал ровно на Покров.
Оторопевшая природа
сменила за ночь время года,
перевела, как ход часов.
Внезапно замерло пространство,
но перерывы постоянства
бывают только в мире слов.

Снег выпал ровно на Покров,
обычай строго соблюдая.
Я помню, я читал у Даля,
об этом пишет Снегирев.
Так долго истлевало лето
и только на излете где-то
оборвалось в конце-концов.

Снег выпал ровно на Покров.
Сад полон листьями, как в мае.
но этот цвет не узнаваем,
он вышел из других миров.

И есть в его происхожденье
единство смерти и рожденья,
и стоит снег живых цветов.

Снег выпал ровно на Покров.
Язычество второго рода
здесь явлено без перевода.
Впечатан распорядок строф,
как в почву тракторный протектор.
Земля лежит, как мертвый Гектор
или поверженный Патрокл.

Снег выпал ровно на Покров.

АНТИЧНЫЕ СТРОФЫ

1

Он так уютен, так понятен,
почти лишенный белых пятен,
стоический суровый мир!
Промыты Логосом детали
и представления. Едва ли
здесь место есть для черных дыр.

2

В словах Хрисиппа и Зенона
так много истинного тона.
Круговорот не есть тупик.
Скорей, симметрия пространства,
чье движимое постоянство
способен выразить язык.

3

Классический Платонов полис —
единственный, по сути, полюс
для эллина, когда бы он
ни жил. Но Аттика Перикла
распалась так же, как возникла,
на краткой паузе времен.

4

Как хорошо под этим небом
присесть на гальку. Пресным хлебом
насытить голод, отхлебнуть
вина из новенького меха
и думать о природе смеха
и слез, нащупывая суть.

5

Прибой дотянется, оближет
босые ноги. То, что движет
волной и ветром, движет мной.

Мы слиты общим постижением,
одним дыханьем и движеньем,
и замкнуты на круг земной.

6

Но в predetermined мире,
конечно, уже или шире
шагнуть нельзя, и потому
нам достается так немного,
что каменистая дорога
по силам даже одному.

7

Но, пережив ожог свободы,
уже нельзя, как в оны годы,
соблазн трагической вины,
списать, как случай, колебанье
струны или упругой ткани,
той, чьи края закреплены.

8

Аттический комедиограф
глядит на звездный гиероглиф,
а пишет о своем мирке.
Снег падает на хлопья пены,
на белый пеплос Поликсены,
и Тень стоит невдалеке.

ПИСЬМО ДРУГУ ФИЛОСОФУ (Перевод с греческого)

Текст

Диоген Охломену¹ шлет привет.

Не далее как вчера, чуть свет
выходит Анаксагор²

на косогор,

ему навстречу Парменид³

семенит

и говорит:

— Человек — это мера!⁴

Анаксагор отвечает:

— Какого, простите, хера,

Вы развешиваете у меня на ушах вашу лапшу?

Отвали на семь шагов — по числу планет, а то укушу.

Парменид возражает:

— А ты Платона знаешь? А Сократа?

а бабу его лысую?⁵ А чего тогда ты

тут выеживаешься? Уйди

с моего многотрудного пути.

В общем, вырвали друг другу по полбороды.

В этом, друг Охломон, еще нету большой беды.

Одному стоику на пиру

в полемическом, сам понимаешь, жару

просто откусили нос.

Стоически перенес.⁶

Обдумывай сказанное, Охломон, днем и ночью,

и ты убедишься воочью,

что тот, кто живет созерцаньем бессмертных благ,

тот удостоен сих,

тот бессмертен. Так!

(В оригинале латынь: Sic!)

Комментарии

¹ Охломон — от греческого «охлос» — толпа.

Судьба

неизвестна, сочиненья, скорее всего, обратились в дым.

Впрочем, это случилось не с ним одним.

Возможно, саркастический псевдоним.

² Анаксагор в основанье всего положил Ум.

³ Парменид говорил: Cogito ergo sum,

или что-то близкое в том же роде,

правда, в греческом переводе.

Излагал свои сочинения в виде поэм,

не стеснялся ритмических подпорок

чем

и дорог.

Встреча философов маловероятна,

но многочисленные белые пятна

в биографии и того, и другого

не исключают такого.

⁴ Фраза, судя то тону и напору,

принадлежит Протагору.

Довольно загадочная фигура.

Есть мнение, что ему принадлежат многие

платоновские диалоги.

По этому поводу существует целая литература,

и рано еще подводить итоги.

⁵ Сократ был лыс как колено.

Несомненно

искаженье фактов, обычное в эклектическом стиле:

У Ксантиппы волосы были.

⁶ Источник, скорее всего, точен, как это ни странно.

Вероятней всего ссылка на Лукиана —

«Философы или пир лапифов» —

довольно свободное переложенье известных мифов.

Мужчина, вероятно, находился в состоянии покоя

или атараксии. Такое

поведенье было довольно широко распространено,

во всяком случае, приветствовалось как идеал.

Лосев, в пятом томе «Эстетики», отмечал,

что стоик и бесчувственное бревно

не одно

и то же,

хотя и очень похоже.

Реконструкция биографии автора письма

Автор жил, скорее всего, в Риме.
Типичный подонок
(обитатель дна). Ходил по бабам,
с ними
был добр и тонок.
Страдал малокровьем.
В связи со слабым
здоровьем
любил пожевать латук,
и мальчиков, иногда сразу двух.
Зимой ночевал в котельной при Термах Нерона,
завернувшись в попону.
Настоящий философ, замечательный человек,
истинный грек.
В возрасте 83 лет и 7 дней
переменил этот мир на иной.

Замечания

Источник можно датировать II или III веком
от Р.Х. Судя по указанной ссылке на Лукиана
I век — рано.
У нас нет никаких оснований считать автора не греком!
К «Жизни философов» отношения не имеет,
хотя имитировать стиль немного умеет.
Источник представляет собой
эклетический набор фактов, имен, идей
совершенно несовместимых, практически на любой
вкус и цвет,
лексики самого разного рода
от площадного жаргона до глубокомысленных эмпирей,
(что, естественно, сказалось на языке перевода)
никакой собственно философии в источнике нет.
Но если к нему отнестись внимательно и осторожно,
некоторые выводы сделать можно.
Собственно, именно такие крохи
и позволяют реконструировать климат эпохи.
После того как распались отдельные царства
Эпикура, стоиков, скептиков и так далее,
и попытки александрийских и римских контаминаций
ничего не дали,
наступила эпоха обесценивания
и в конечном итоге смерти классического идеала.
Самым типичным приемом, приметой времени
является ядовитое жало
пародии. Это — II век на всем пространстве Рима.

Пародия действительно необходима,
чтобы вытравить с полустертых монет
профили Диоскуров, которые застыли свет.
Человек не может смеяться над тем,
что близко и трогательно, этих тем
смех не касается. Смех – это средство
абстрагирования и, в конечном счете, убийства.
Лукианово безудержное витийство
есть отказ от наследства.
«Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым»,
тем паче
с чем-то действительно дорогим и хорошим
расстанутся иначе.
Пародия – состояние души, разучившейся плакать,
мякоть
съедена или иссохла, остались корки,
вылущенные лозунги, слипшиеся скороговорки.
Но в этот период всегда за сценой идет работа,
и кто-то
обязательно понимает, что прошлое дороже и ближе,
чем кажется большинству, что этой разлившейся жиже
нужно поставить действительную плотину,
и тогда оседает тина,
и наступает время нового синтеза, домината, Плотина.

Библиография

Диоген Лаэртский «Жизнь философов»
и весь Лосев.

РАВНОДЕНСТВИЕ

За потепленьем робким, первым
метет поземка по утрам,
и вторит напряженным нервам
вибрация оконных рам.

По барабанной перепонке
капель-бессонница стучит,
и наледь около колонки
приобретает талый вид.

Как трудно я болел зимою.
Как голову не мог поднять.
Воды налью, лицо омою,
Как хорошо, ядрена мать!

Заботы сдвинуты на завтра
и, в сущности, невелики.
Как весело, как безвозвратно
горят в печи черновики.

Судьба есть цепь инициаций.
Но у меня есть твердый план:
садить капусту, как Гораций
или как Диоклетиан.

Тревожный трепет опечаток
никак нейдет из головы.
Как совершенство, слаб и краток
день равноденствия. Увы.

Я выхожу на перепутье
и опрокидываю лес —
Земля летит на парашюте
под гулким куполом небес.

* * *

В болезни есть изысканная прелесть.
Наверно, эта пригоршня таблеток
подействовала — тихо оглушила
и помогла насушное забыть,
остановиться, замолчать, не думать.

Как хорошо в безмысленном покое
смотреть на радужную рябь событий
текущих, чтобы стать небытием,
ни тени не оставив, ни следа,
как след дыхания на стекле морозном.

Тогда и начинает открываться
другой, криволинейный, странный мир,
в котором время движется по кругу,
в котором нет, да и не может быть
ни эволюции, ни революций.

Есть только рябь, игра воды и света.
Есть звонкое предчувствие прозренья.
Есть только небо. В плотной синеве
так сладко утопать и утонуть,
так сладко раствориться без остатка —

без драматических воспоминаний,
без вынужденных слез, без некролога,
вдовы печальной, оглушенных страхом,
на произвол покинутых сирот,
оставшихся без средств к существованию.

Свободно оторваться от Земли
и плавно, без усилия скользить
по млечной колее путей воздушных.
Куда открыта эта дверь вселенной,
куда ведет спокойная отвага,
куда... не спрашивай меня куда.

ЧЕРВЬ СОМНЕНИЯ

Вероятно, Россия
остается в грязи
по причине бессилья
и с бездельем в связи.
Где на этом просторе
окружная черта?
Были б горы и море,
так ведь нет ни черта.

Что нам римское вето?
Что нам англ или галл?
Символ местности этой —
вечный лесоповал.
Непомерность инерций
здесь как раз хороша:
разволнуется сердце,
раззудится душа.

А как хочется, чтобы
было как у людей,
безо всякой особой
подоплеки идей.
Чтобы сытно да ладно
и чтоб нос в табаке.
Нет, гони неоглядно
на коньке-горбунке!
Меж крутыми горбами,
ни просвета, ни зги.
И одними губами:
Господи, помоги.

Может, эта разруха
и никчемный размах
есть вместилище духа
на широких крылах?
Нет, и это не верно

и неместный типаж.
Есть, но горькая скверна
или скверная блажь.

Ох, сгущенные краски!
Ох, крещеный народ!
Этот в полной завязке
тот без просыху пьет.
Нет как раз сердцевины,
поглядишь на просвет,
вроде две половины.
Нет, гармонии, нет.

Да, и мне подсуropил
окружной колорит.
Разве мало я пропил?
А еще предстоит.

Видишь поле картохи?
Видишь стадо гусей?
Милый, в чертополохе
сей разумное, сей.

Но отсутствие меры,
видно корм не в коня,
неизбежностью веры
привлекает меня.
Удержаться-то нечем —
только слезы да пот,
не прожить человечьим,
может, Божье проймет?
Успокоит, поможет?
Как проклятый вопрос,
червь сомнения гложет.
Чур меня, кровосос.

АВТОСТОП¹

Памяти Кости Пантуева

1

Прообраз, данный в автостопе,
есть странничество. Самый путь
в автодорожном хронотопе
реализуется ничуть
не хуже, чем в пыли проселка
и тракта, скрадывая фон,
где молодая богомолка
идет босая на Афон.

2

Но отсекая святость цели,
безбытность — тоже только быт,
реализующий в пределе
лишь обращение орбит.
Орбит, смыкающихся в точку,
осекшихся, как ложный путь.
Не покупается в рассрочку
беспредпосылочная суть.

3

Пора пути. Меняй попутки,
перемещаясь по земле.
Дрожат рассыпанные сутки,
как дождь на лобовом стекле.
Дели дорогу вместе с теми,
кто обкатался и привык
на перегоны мерять время,
и спать, загнав его в тупик.

¹ «Автостоп» — буквально: самоостановка.

4

Я погружаюсь в эту нишу,
в разлом статических пластов,
счастливый тем, что не завишу
от расписанья поездов,
и этой степенью свободы,
надеюсь, что не поступлюсь,
согласно с вывертами моды,
меняя минусы на плюс.

5

Дорога, миновав распадок,
идет наверх, и мне в лицо
сквозь частокол лесопосажек
выплескивает озеро.
Как точный кадр видеоклипа,
как чистый световой объем,
действительный без прототипа,
формально видимого в нем.

6

За сорок верст до околотка
уткнувшись в лесополосу,
палатка дрогнет, словно лодка,
бортами трогая росу.
Но в ней самой тепло и сухо,
и мир вовне едва знаком,
и тишина щекочет ухо
шероховатым языком.

7

Солирующий самолетик
распарывает ткань небес.
Ты видишь, как белеет плоть их,
как расплзается порез,
и тонет в складках горизонта
над перекрестком трех дорог,
где трехаёт из капремонта
стократ залатанный «зиллок».

8

В какой-то день я выйду к морю
и сброшу на песок рюкзак.
Водой соленой промою
мир, посветлевший на глазах.
Волна выносит донный мусор.
Штормит. Наверно, баллов пять.
Стихии, стянутые в узел,
друг друга пробуют понять.

9

Пейзаж как дождь однообразен.
Все серо. Только и всего.
Камаз гребет, как Стенька Разин,
из Острова по осевой.
На мыльном зеркале асфальта,
где тормоз, ясно, не спасет,
ревет моторное конральто.
Бог весть, куда его несет.

10

Длина пути до поворота,
до выхода из тупика —
четыре шага, для полета —
два водопьяновских плевка.
И плоть слаба, и дух ничтожен,
как свет, сочащийся сквозь щель.
Мир сложен, потому что сложен
из нескольких простых вещей.

11

Валяй, младой военнопленный,
пора нагуливать жиры.
Рим рухнул так, что вопль вселенной
доходит и до сей поры
Но пусть другой нейтральный некто
просветит нам глазное дно,
лаская скальпель интеллекта,
мне это право не дано.

12

Мы знали мало, жили плохо,
закуривали натошак.
Была прекрасная эпоха,
настоянная на мошак.
Был мутный спирт в граненой призме:
зародыш, выкидыш, отец.
Мы будем жить при коммунизме,
не мы — так дети, наконец.

13

Повремени, отходят воды.
Мы будем в Тосно до темна.
Почем у вас глоток свободы?
Да, собственно, цена одна.
Как я стоял у автомата,
пытаясь спину разогнуть
и сделать шаг. Куда? Куда-то.
Сопроводить в последний путь.

14

Потом толпой стояли в морге
в каком-то скомканном ряду.
И запах апельсиновой корки
присутствовал в моем аду.
Морской, соленый привкус пены
подкатывал, как слезный ком.
Росли деревья, дети, цены
и очередь за молоком.

15

Но, может быть, когда померк
свет, сбросив плоть, как рваный кокон,
твоя душа скользнула вверх,
помедлив возле наших окон.

.....
.....
.....
.....

16

Мы живы ритмом примитива.
Так замирает белый свет
на черных зернах негатива,
и ничего другого нет.
И выбор наш всегда банален,
но как же трудно, черт возьми,
уйти на волю из развалин,
давно оставленных людьми.

17

Я фаталист, в известном смысле.
Я знаю, что моя судьба
есть плод глубокой внешней мысли,
но мне далёко до раба.
И есть в сопротивленьи быта
соблазн окольного пути,
и час, когда звезда закрыта
и к ней дороги не найти.

18

В какой-то день и час какой-то,
наездившись до столбняка,
умоюсь прямо из брандспойта
у колеса грузовика.
И что-то выявится четче,
и станет ясен тот рубеж,
где за повтором «Авва отче»
окликнул звательный падеж.

19

Мы ропщем, мы словами сорим,
но это все от головы.
Ты чувствуешь, как пахнет морем
от свежескошенной травы.
И столько света в чистом тоне,
что чаша нам не так горька,
когда на голубом плафоне
стоят, как лики, облака.

20

Сойду с дороги, по проселку,
по лугу, лягу на живот.
И молодую богомолку
закроет плавный поворот.
Но, может быть, на спаде гула
придет открытый сильный звук,
чтоб душу музыкой продуло,
как будто слово – дело рук.

21

А слово станет, станет словом
и, перебравши чересчур,
пастух прочтет своим коровам
Платонов «Пир» и «Чевенгур»,
и, закативши бельма к небу,
косноязычный, как Терсит,
свою замусленную требу,
как истину провозгласит.

ПОСЛЕДНИЙ ИДЕАЛИСТ

Однажды вождь и учитель
в конце тридцатых годов
спросил у своих придворных
исторических матерьялистов:

— Скажите, а есть у нас
живые идеалисты?

Ему ответили:

— Есть.

— А много ли?

— Единственный идеалист
у нас Алексей Лосев.

— Если один, пусть живет, —
изрек учитель и вождь,
и Лосева больше не трогали.

КРИТИКА ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗУМА

Люди сажают картошку.
Поле пашет смиренный мерин.
Когда он идет на Север,
прокладывает борозду,
я картофелину бросаю.
Когда он идет на Юг,
борозду засыпает.

Мерин ходит по полю,
как маятник ходит мерин,
как смена времен года:
лето, зима, лето.

Женщина говорит:
«Дай Бог, чтобы уродилась.
Дай Бог, чтоб ее хватило
в зиму, скотине и людям».

Облако встало над нами
в небе пронзительно синем.
Но почему же душу
мне тоска разрывает?

Мы сидим на террасе
перед столом накрытым.
На столе огромное блюдо
картошки с домашней тушенкой.
Надежда Иванна вносит
мой любимый салат — охотничий:
помидоры и сладкий перец,
репчатый лук и приправы,
пять минут кипятить в масле,
и можно закатывать в зиму.
Разбавленный спирт в стаканах
мы пьем, чтобы уродилась,
чтобы были дожди и ливни,

чтоб хватило тепла и света.
Но почему же душу
мне тоска разрывает?

Люди сажают картошку,
чтобы съесть ее ровно за год,
чтобы снова сажать картошку,
чтобы съесть ее ровно за год.

Люди варят варенье,
самогон под праздники гонят,
продают поросят на рынке,
чтоб немного подзаработать.
Люди воруют, где могут,
у совхоза и у соседа.
У людей рождаются дети,
у детей рождаются дети,
у детей рождаются дети.
Умирают, ложатся в землю.
Мне душно от круговорота,
тошно от головокруженья.
Мне хочется выйти на воздух,
но где этот воздух, где он?

Ветер пропитан влажным
запахом серой гнили.
Как тяжелы испаренья
необходимой рутины.
И некуда, некуда деться,
и кажется, каждый встречный
дышит в лицо перегаром,
в лучшем случае свежей сивухой.

Я таскаю тяжелые доски,
тес, который немного легче,
убираю опилки и мусор,
наконец-то забор поставлен.

А в саду зацветают вишни,
а в саду зацветают сливы

и стоят, как застывшие взрывы,
рядом с розовым цветом яблонь.

Я читаю Экклезиаста
по цвету сливы и вишни,
по свежей траве и листьям,
по разбитым своим кроссовкам
и вконец изношенным джинсам,
по штaketнику я читаю.

Я читаю Экклезиаста
по слогам, слова повторяя,
повторяя: «Как это верно!»
Если жизнь — это форма праха,
если жизнь — это ловля ветра,
были прахом и станем прахом
в бесконечном круговороте.

Но почему же душу
мне тоска разрывает?

ПАДЕНЬЕ ТРОИ

Сипит флейтист, лады расстроая.
В моих глазах сгорает Троя.
Кассандра бьется о косяк.
Ништяк.

Бежит Эней. Спасает шкуру.
Его геройская фигура
мелькает в продранном плаще.
Ваще.

Неоптолем, шенок, мальчишка,
при штурме накативший лишку,
рассек Приамово чело.
Не запаadlo.

Витает привкус сладкой гари,
паленой плоти, каждой твари
ещё перепадет, ещё.
Ты чё.

Мелькают шлемы, лица, копья,
и пепел носится, как хлопья
зловонной пены. Стон в груди.
Не бзди.

Я плачу. Стены Илиона,
наследье Троса, шепки трона
и факелов чадающий свет.
Пинцет.

О, где ты, где ты, Афродита,
ужели рана не забыта?
Зевс не велел? Как тут посметь.
Я встречу смерть.

КРАСОТА (венок сонетов)

Что делать страшной красоте,
когда на каждом повороте
скулит коробка скоростей,
и дрожь передается плоти,
завинчивая фуэте,
в ту точку, что стоит в полете.
Покой запаян в целой ноте,
как электричество в локте
и пальцах. Клацает затвор,
как челюсть «Эрики» литая.
Ты слизываешь NaCl
с губ, скудный ум опровергая,
той красотой, бьет в упор.
Да, и бывает ли другая?

Гармония весов и мер,
легко скользящая по краю
под музыку небесных сфер,
весь мир явлений омывая,
как представленья, например,
или покров богини Майи
и оформляющий барьер.

Историю, как гроб событий,
мы тащим на своем хребте.
Мы носим, словно воду в сите
действительность. Мы просто те
подонки духа (извините).

Жизнь хлопает в нечистоте
прямой затверженностью быта,
где на коломенской версте
висит разбитое корыто.

В давитьне, мытне, маяте
все кровью кроено и шито.
Ах, Рио-рита, Рио-рита!
Ах, па-де-де, т.п., т.д.

Как жизнь печальна, Боже мой!
Как на опаре дрожжевой
плоть пузырится, подрастая.
Под этот клекот горловой
и я живу своей кривой,
дубовый быт перемогая,
живу с закушенной губой,
невзрачной, призрачной судьбой,
и вздрагиваю, как от лая
внезапного. А за спиной
полупомешанный больной —
студент физфака встал, играя,
наверно, бритвой: «Баю-баю».

Я сплю. Недалеко от Рима
как кожа дряблая от грима,
в морщинах море. На кресте
раб умирает. В мирной сени
присаживаюсь на ступени,
где мозг разбрызган по плите.
На бритой черепной коробке
чернеет трещина. Неробкий,
не испугавшийся плетей
и пряников иду по тропке.
До Рима тысяча локтей,
до поражения, краха, трепки,
триумфа, славы всей мастей.

Разделим вечность на двоих!
Пусть гордый город в гордый стих
врастает сущность полагая!
Да, к сожалению, не тут-
то было. Твой характер крут,
как сапожок мальчишки Гая
Калигулы.

Какая блажь!
Куда я докатился! Аж
до центра мира.
Я не знаю,
зачем сюжет (почти пейзаж),
под кипарисами петляя,
приходит на вечерний пляж,
где пена тает отступая.

Вот так и жить, сбиваясь с такта,
не веря в очевидность факта,
прислушиваться к пустоте,
иначе замкнутое слово
не даст разлома и основа
завязнет в тонкой немоте,
навязчивой как рифмы эти,
где те-те-те и те-те-те
одни целом белом свете.

На колченогом табурете
сiju, как в родовом гнезде,
что мне положено по смете
положено незнамо где.
Судьба есть транспортная сеть,
здесь очень трудно усмотреть
как пролегла твоя кривая.
Сто верст, как водится не крюк.
Спираль или порочный круг?
Рефрен из песни попугая,
припев про попку-дурака,
банальность, нечто про сурка,
бубню, курю, припоминаю
в свинцовом коконе, пока
не дрогнет световая стая,
и шило выйдет из мешка
случайно сущность обнажая.

Как точный срок полураспада,
который филиалы ада
распластывает, как ланцет.

Сосредоточенный анатом,
ты видишь, как устроен атом.
Возможен ли другой ответ?

В любом явлении природы
гармонии, конечно, нет
и нет осознанной свободы.
Есть хаос форм, виденья, бред,
Центральный парк, где спят уроды.
Есть лимфа, мясо, кровь, скелет,
белки, жиры и углеводы.

Но, может быть, на глубине
пресуществует мысль извне
структурой строгого узора,
туда уходят корни слов,
материю переборов,
сквозь горечь срама и позора
пробьются стебли языка,
окрепнет синтаксис, и скоро
тук-тук проклюнется слегка
биенье ритма, пульс повтора
оформится наверняка
и станет мерой Протагора
и нормой малого мирка.

Прощупывая белый шум
сложенье бесконечных сумм,
как долгожданную опору,
ты ощутишь, и бросит в пот,
как будто головой об лед,
сухой, как буква приговора,
вселенский холод.
Здесь нельзя
существовать.
Глаза слезя
за гранью
труса,
глада,
мора

есть Красота.
Твоя стезя
быть любопытным, как Пандора,
но трудно двинуться скользя.
За поворотом коридора
лишь скорбь и холод.
Сделать шаг
почти немислимо, в ушах
кровь осыпается.
Билет
пора вернуть,
но это знак,
когда расплескивая мрак,
ударит вынужденный свет.

Замрет пространство. Время станет.
Катрен спрессуется в терцет.
Круговорот тебя потянет.
Вести спираль сводя на нет
в конце концов рука устанет.

На обороте дней и лет —
зима и ночь. Остынет, канет
сонет, как сурдоперевод
лесного шороха. Урод,
пытавшийся путем глагола,
достроить свой ущербный круг,
а вызвавший визжащий звук,
как металлическое соло,
трель электрички, переезд,
подробный образ дачных мест
и кильку пряного посола.

Возможно, это тоже школа,
возможно, рано ставить крест,
пока тревожный вкус ментола
язык до корня не разъест.

Но, вероятно, выбор есть
и мыслимо его прочесть,

как дешифрованную Тору.
И все-таки довоплотить
и вытянуть живую нить,

не знаю из какого сора,

*как металлическое соло,
ударит вынужденный свет,
сухой как буква приговора,
сквозь горечь срама и позора.*

Возможен ли другой ответ?

*Рефрен из песни попугая,
завязнет в топкой немоте,
как сапожок мальчишки Гая,
где мозг разбрызган по плите.*

*Дубовый быт перемогая,
жизнь хлюпает в нечистоте.*

Да и бывает ли другая?

Что делать страшной красоте...¹

¹ Последние четырнадцать строк могут читаться и в прямой и в обратной последовательности. Это – обратный или прямой магистрал венка.

* * *

Звезда наливается светом,
как августовская лоза.
Я убеждаюсь в этом,
к небу подняв глаза.

Отяжелели грозди
после июльских гроз.
Налитые светом звезды
я вижу сквозь линзу слез.

Сад постепенно вянет,
слива уже сошла.
Сын подойдет и встанет
возле кухонного стола.

Это — вершина лета
и его пережат.
Тяжелые капли света,
как слезы, падают в сад.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

К СТИХАМ

*Стихи мои, птенцы, наследники,
душеприказчики...*
А. Тарковский.

Ну вот, я стою перед вами,
творец и создатель. Теперь
спасайте. Своими словами
закройте балконную дверь.

Спасите от этого шага,
иначе я просто уйду.
Но если вы только бумага,
измаранная на ходу,

но если я силы вам не дал,
простите, простите меня.
Как видно, что делал — не ведал,
не ведал до этого дня.

ЦИРК*Н. Ж.*

Смуглые щеки твои темнеют, горят,
тебе неловко со мной и нельзя уйти.
Охает цирк. Гомонит двенадцатый ряд,
мы должны смотреть на слона, мы дети почти.
В том-то и дело — «почти».
Это, может быть, до сих пор
так и было, но то, что происходит сейчас
(кони летят по кругу во весь опор),
резко и необратимо меняет нас.
Губы деревенеют, произнести
имя твое нельзя — это имя Бога.
Я утаю его в сердце своем. Прости.
Это все, что досталось мне,
но и этого слишком много.

ЮНОСТЬ

Ты в начале, а это всегда тяжело.
Горше юности, разве что молодость. Где-то
на восьмом этаже протирают стекло.
Пух летит с тополей. Начинается лето.

Это время бессилия, время надежд,
безусловно, бесплодных, очнувшейся плоти.
Но душа занята переменной одежд.
Ангел пачкает губы в вишневом компоте.

Охрани тебя Господи! Переживи
этот трудный отрезок, он, в сущности, краток.
Это голая молния первой любви
обжигает, как змейка скользнув меж лопаток.

Этот возраст похож на рождение звезды
из туманности газовой. Те же проблемы.
Гесиод. Теогония. Дни и труды.
Время формирования планетной системы.

Пух прибило дождем. Тишина во дворе.
На площадке за домом пустуют качели.
В небе первая звездочка, ей как сестре
улыбнись, что ж ты плачешь, на самом-то деле.

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Воспитание чувств до Флобера,
откровение тайн алфавита —
это первая робкая мера
осознания мира и быта.

Будут книги и библиотеки
проявление смысла и слова.
Тяга к истине есть в человеке
безусловная первооснова.

Жизнь учителя в самом-то деле
есть отчаянная неудача.
Продвиженье к немислимой цели —
непосильная людям задача.

Может быть, это проповедь права,
холодок глубины и свободы.
Может быть, это тихая слава,
что приходит к тебе через годы.

ПОЦЕЛУЙ

Я целую тебя неумело,
робко, скомканно, воровато.
Так податливо это тело,
Так засасывает куда-то.
Осень желтая в красных пятнах.
Очи черные близко-близко.
Так вибрирует сердце в пятках —
визг осеннего василиска.
Гул падения мимо, мимо.
Листья тикают тонко, тонко.
Щеки пахнут яблоком, дымом,
и пространства скрипит воронка.

ПОСЛЕ МЕТЕЛИ

Я больше не ревную.
Надеюсь, что не лгу.
Топчу себе иную
дорожку на снегу.

Найду себе заботу
о чем-нибудь другом.
Устроюсь на работу —
скатаю снежный ком.

В душе как в поле чисто
и ветерок затих.
Работа программиста
не хуже остальных.

Но разве в этом дело?
Похрустывает наст.
Я вспомню, как ты пела,
и холодом обдаст.

Ты возвратишься к мужу,
к семье и очагу.
Я после обнаружу,
что без тебя могу.

что снова может виться
пушистый теплый снег,
что может появиться
любимый человек,

что люди есть на свете
и ты одна из них,
что дело есть и дети.
Есть ты и твой двойник.

Та женщина, с которой
я связан и сейчас,

какой бы черной ссорой
ни разбросало нас,

участница доньше
моих ночных бесед,
хотя ее в помине
на целом свете нет.

Связующая сила,
как вольтова дуга,
звенела и искрила,
пока мели снега.

Я был обуглен прежде
чем понял, что сгорел.
Я пребывал в надежде,
что невредим и цел.

Могло ли быть иначе?
Не знаю. Ты ушла.
И мне не надо сдачи
от вашего стола.

Мне нет нужды и дела
о том, как ты живешь.
Все так, как ты хотела,
ну что ж, мой друг, ну что ж.

Будь счастлива. За мною
есть право до конца
хранить тебя иною
до черточки лица.

И вызывать повторно,
и снова воплощать
ту женщину, которой
мне нечего прощать.

* * *

Подробный анализ мыслей и поступков героя
говорит о том, что его единственной целью,
единственным, в чем он видел ценность,
была Красота. Но дорога
сворачивала все время не в том месте
и питала его не намного лучше
верблюжьей колючки.

Он искал Красоту в замечательно умных книгах.
В поэзии, математике, стоицизме,
но находил гармонию, а она
не более чем изящное прокрустово ложе,
круглый бассейн, где можно достать до дна,
Красота по своему существу безобразна,
возможно, как бесы разные.

Он пытался ее удержать в регулярных строфах,
резких тропах, неожиданных переменах метра.
Это похоже на ловлю ветра полой халата.
На вопрос: «Не слишком ли ярок мой галстук?»
за пять минут до потопа.
Переноска воды в решете от забора и до обеда —
не большая победа.

Красоту часто связывают с удивлением,
но это какое-то слабое чувство, сродни испугу,
в нем звучит разве что дамское «ах».
Скорее она похожа на жуть впотьмах,
на преступление
против морали, логики, государства и частных лиц,
на выпускников психбольниц.

Это тот откровенный ужас, который несет
сквозь разрывы оформленной оболочки.

Кровь, пот и слезы, но в первую очередь пот —
это верные признаки приближения точки
кипения или присутствия Красоты.
Можно приблизиться, можно. Попробуй тронь.
Ты сожжешь ладонь.

Лучше не надо, пусть кто-то другой где-то там
сходит с ума на этой непрочной почве.
Но безумная музыка движется по пятам,
как эхо шагов отражаясь от стен одиночки.
Голая лампочка мощностью 200 ватт
режет глаза, и мысли гремят быстрее,
чем шары лотереи.

Но все-таки, все-таки перетерпи:
нет выше таланта таланта терпенья,
когда возникает внезапное пенье,
кузнечик стучит в придорожной степи.
Напейся воды, если хочется пить.
Цветок зацветает, прекрасный как демон,
из света пространства и времени сделан.

Нет выше таланта таланта труда.
Душа твоя, словно долбленная чаша,
наполнится влагой, быть может, горчайшей.
Пока еще можно вернуться туда
путем не прямым, но, возможно, кратчайшим
туда, где проселок прибило дождем,
спасибо на том.

Там женщина варит сливовый компот,
там девочка красит картинки в альбоме,
и там тебя ждут, и, наверное, кроме
никто и нигде тебя больше не ждет.
Машины и люди стоят на пароме.
И пьяный паромщик цепями гремит,
и сердце щемит.

Душа твоя станет той формой, той
строфою с так долго искомым размером,
которая непредставимым манером
наполнится страшной земной Красотой,
крадущей детей и бегущей по нервам,
и это твой выбор, твой дар и покой,
твой дом над Окой.

ПАМЯТИ ДРУГА

В своей кургузой курточке, как есть,
с подкладкой символического меха.
Когда мы это начали, Бог весть,
с ничтожной вероятностью успеха.
Но это было, что ни говори,
теперь припоминаемое вчуже,
когда ты можешь видеть изнутри,
на что я до сих пор смотрю снаружи.

Как будто красно-белый поплавок,
всем корпусом подрагивая мелко,
меж облачных ныряет поволоку
залатанная, старенькая «Элка»¹.
И девочку примерно лет шести
тошнит. И нет ни выдоха, ни вдоха.
Я думаю: «О Господи, прости,
наверно, Кузе было б так же плохо».

Светает поздно. Дети крепко спят.
Спят разметавшись, скомкав одеяла.
Я понимаю, восемь лет подряд
мне каждый день тебя недоставало.
Словами благодарности судьбе,
наивностью нечаянных наитий,
жизнь движется, как гайка по резьбе,
и катится планета по орбите.

Но тот круговорот заблудших душ
невольно подкупает постоянством
мою незрелую глушь,
поросшую вполне банальным пьянством.
Наверно, где-то около шести
я рухну, и меня оставят силы.
Как мне везло, как мне могло везти.
Я прожил жизнь, как больно это было.

¹ Легкий пассажирский самолет L-410.

* * *

Прогуливаясь по холодку,
сетуя на судьбу,
неторопливо закуривая
легкую сигарету,
невозможно представить,
как в железном гробу
человек
прикасается к собственному лицу,
как к неживому предмету.

Боль, как свинцовый шар,
катается в черепной
коробке,
и вряд ли череп
выдержит эту пробу
на прочность.
В промозглом мраке
и тишине сплошной —
сверлящая пытка надеждой —
кто-то стучит по гробу.

Нечаянно понимаешь:
сколько стоит свет,
сколько стоит тепло
и глоток кислорода.
Подлодка уткнулась в грунт.
Надежды уже нет.
Зыбь на северном море
колеблет мертвую воду.

* * *

Я один во всем виноват,
я один виноват во всем,
изобрел портативный ад
и теперь существую в нем.
На себе его выношу,
спотыкаюсь, как волчья сыть.
Ни о чем тебя не прошу,
ни о чем не могу просить.
Не прощай меня, не прощай.
Я из глины лепил слова.
Малодушие - это край
за которым душа мертва.
Я забыл, что нужен закал.
Я смотрел свысока вокруг.
На испуг меня мир поймал,
мир поймал меня на испуг.
Зубы стисни, губы сожми,
утрамбованный прах земной.
Я забыл, что живу с людьми,
я-то думал, они со мной.

* * *

Я пил много дней и устал,
прозрачный, как хлипкий хрусталь,
расколотый светом.
Что было со мной в эти дни,
о, Господи, не помяни.
Не надо об этом.

Ты видишь, стою у метро,
глотками стекает в нутро
холодное пиво.
Но очарованье очей
кобель, безусловно, ничей
глядит сиротливо.

Мне нравится праздничный вид:
холеный державный гранит
кобель орошает.
Я верую, не укоришь.
Колеблется умный камыш,
Тебя вопрошает:

«Как этот содом и дурдом,
преодолевая трудом,
стерпеть перегрузки?»
И видит пылающий знак:
«Ах, чадо, не пей натошак,
портвейн, без закуски».

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО СТОЛЕТЬЯ

Это было в те времена,
когда Полина Дашкова
была Еленой Еланской,
и печатала стихи в рукописном
выходившем в трех экземплярах
журнале «Джеб»...

Это было в те времена,
когда Максим Кривошеев
не выглядывал из телевизора
весь в белом, с бабочкой черной,
а сидел у костра на рассвете,
когда ветер касается бесшумно
тлеющей древесины,
и она разгорается неярко.
И Максим прихлебывал из кружки,
и напевал под гитару
историю жизни Гершензона
(не филолога, а другого)...

Это было в те времена,
когда Сережа Молчанов
в своих университетах
говорил по-северокорейски
и придумывал странную прозу.
Все слова у него писались
с прописной, с Большой Буквы,
и этого было довольно
чтобы Тарелка и Ложка,
обрели собственную душу...

Это было в те времена,
когда Илья познакомил
меня со своей женой.
Я без памяти в нее влюбился
еще до того как увидел,

и оказался, на поверку,
очень неверным другом.
И Юля моей женщиной стала,
и пела мне песню в миноре,
под сырым петергофским небом
песню о гражданке Ивановой,
с которой говорили по-английски...

И сегодня в последний день
последнего лета столетья,
тающего, словно обмылок;
я старый и мудрый,
знающий слишком достоверно,
что жизнь коротка и печальна,
говорю, с идиотской улыбкой:
Это было в те времена
когда был я совершенно счастлив
и, к счастью, не знал об этом.

* * *

Мой первый творческий вечер
состоялся в начале марта
восемьдесят девятого года
в Салтыковке на даче.

Присутствовали:
от критики – Костя Пантуев,
мой друг и тонкий ценитель
поэзии, прозы и прочего,
стихи мои не любивший,
но ко мне всегда относившийся
благосклонно;
от поклонниц была Татьяна,
меня никогда не любившая,
но смотревшая на чудное животное
благосклонно.
Жаль, мои животные качества
ее христианскую душу
и тело ее христианнейшее
совершенно не волновали.
От публики был Сережа,
мой друг, аспирант мехмата,
сказать о котором нечего,
потому что он жив, слава Богу,
и, несмотря ни на что,
ко мне до сих пор благосклонен.

Я прочитал вступление,
предложив выпивать и закусывать,
чтобы не было слишком скучно,
но к вину никто не притронулся,
пока не закончилось чтение.

Пили очень торжественно –
«Гурджани» и «Цинандали».
Костя сказал: «Однако

ты расписался за год,
много всего написал».
Этим процесс обсуждения
начался и закончился.
Через четыре месяца
Костя Пантуев умер.
Покончил с собой пригоршней
белых снотворных таблеток.

Эти четыре месяца
я помню настолько четко,
буквально до тени жеста,
до льдинки, до вкуса снега,
до колеи в Салтыковке,
тополей возле Павелецкой,
до запаха бензиновой гари
и пуха, щекочущего ноздри.

Я лежал как озеро. Если
меня что-нибудь касалось,
то это была ресничка,
прилипшая к яблоку главному.
Если что-то со мной случалось,
то трогало только оболочку,
а случилось всего много.

В ночь на четвертое апреля
родился мой сын Ваня.

РАЗГОВОР С ИСТОРИКОМ

Здесь воздух горек,
а суть — суха.
Постой, историк,
в тени стиха.

Здесь то, что было
и не сбылось,
хоть волком выло
и ввысь рвалось...

— Попасть в анналы
не значит взмыть
Совсем не мало
по волчьей выть.

* * *

Когда мы были молодыми,
мы пили крепкое вино.
Но как подробно это было,
теперь припомнить тяжело.

Мы были крепкими, как доски.
Пах воздух струганой сосной.
И жизнь лежала перед нами
податливая, как земля.

И не было такой задачи,
чтоб нам была не по уму.
И не было таких орехов,
которые нельзя разгрызть.

Мы сделали все, что возможно,
чтобы остаться без зубов,
чтобы озлобленность и робость
нас доконали наконец.

Трухлявое, гнилое тело,
рассудок твердый, как кирпич.
Но в чем была моя ошибка,
наверно, поздно выяснять.

PLATH WITH NICHOLAS, DECEMBER 1962

На этом снимке с ребенком
Сильвия Плат похожа на Юлю.
Такую, как двадцать лет назад.
(Двадцать лет — это много?
Двадцать лет — много.)

Юля действительно напоминала Плат
решимостью вынести все
и снести...
Я любил ее так, что казалось —
мир взорвется.
Да он и взорвался.
И собирал я тело свое и душу,
по лоскутам, как чертову свитку.

Сильвия Плат смотрит в камеру.
(Чем снимали тогда?
Тот же «Кодак», наверно.)
Она улыбается.
Восторг
в огромных черных глазах,
волна
тяжелых черных волос...
Она улыбается сыну.
От этой идиллии
становится холодно.

Ты-то думала,
что у кошки девять смертей,
но оказалось — их только три.

Я уже старше тебя...
Я намного старше тебя,
черноволосая девочка,
самоубийца со стажем,
кошка, которая репетирует
смерть, как минорную гамму.
Раз-и, два-и... Три.

СМЕРТЬ ВОЖДЯ

Круглое небо, опрокинутое на Чечню.
Как царапина голубого плафона
ракета соскальзывает по лучу
портативного телефона.
Остаются только доли секунд
за которые не моргнуть, не охнуть.
Время, рассчитанное на самосуд,
кусает себя за локоть.
И деревья, опавшие до худобы,
венчают тело посмертной славой,
где будет десять минут ходьбы
от левой руки до правой.

* * *

Я – щука на белом песке.
Крючки в моем плавнике.
Кровоточит блесна.
Вероятно - это конец.
Вероятно. Bravo, ловец!
Развязка моя близка.

Удар – хвостом по песку
изгибая тело блесну
ломая плавник – к воде.
Песок залепил глаза.
Неужели уже нельзя?
Неужели сейчас и здесь?

Как томно, как тяжело!
Скулу от боли свело.
Ничего не могу.
Ударом весла по лбу
венчает мою судьбу
хмурый рыбарь.
На солнечном, нестерпимо
сияющем берегу.

* * *

Разве физическое страдание –
только утрата сил и времени?
Оно разрушает тело,
но для духа оно целебно.
И это довольно часто
единственное лекарство.

* * *

Когда человеку плохо,
так плохо, что проще в петлю,
он не плачет — беззвучно стонет,
так, чтоб никто не заметил.
Когда человек счастлив,
он, может быть, улыбнется,
улыбнется одними глазами,
так, чтоб никто не заметил.
Ходят рядом тихие люди,
носят в сердце горькую тайну,
носят в сердце звонкую радость.
Не тревожь их, иначе расплещешь
чашу счастья и чашу горя.
Лучше оставь их в покое,
пусть каждый чашу осушит
до дна, до последней капли,
самой горькой и самой сладкой,
и тогда он к тебе обернется,
обернется и, может быть, спросит:
«Скажите, который час?»

* * *

Грехов-то и тех существенных нет.
Все по мелочи, и покаяться не в чем.
Чем же ты занимаешься столько лет?
Продад бы душу, умер бы певчим
дроздом. Так ведь нет, живешь,
если это можно назвать словом
жизнь или судьба. Бельевая вошь,
путешествуя по простыням и покрывам,
видит суровые горные ледники,
и, пригорюнившись на краю обрыва,
смотрит на заходящее солнце из-под руки,
и вспоминает щель, где была счастливой.

* * *

Утро. Будильник. Первый глоток
тяжелого воздуха
со вкусом немислимой дряни —
то ли пасты зубной,
то ли нерастворенного кофе.
Дальше — пробка и давка, и тяжесть
повседневной заботы ни о чем.

Чем закончится день?
Обратной дорогой,
поздним ужином и новостями,
которые тут же забудешь...
Ты заранее знаешь все
еще до того, как начнет
сыпаться эта труха, заметая мозги,
приглушая вечную боль,
которая если утихнет,
только затем,
чтобы взяться за сердце твое
с новой силой с утра.
Разве можно так жить?
А ведь мы так живем.

* * *

Жить не хочется, хочется спать.
Смерть, говорят, красна на миру.
На что мне такая благодать?
В одиночестве лучше умру.
Заживо постепенно сгнию,
мороком задохнусь наконец,
медлительную волю мою
ломают, как поленом крестец.
Куруется над грязной рекой пар,
Горько пахнет горелым тряпьем...
Знай: втиснутый в стандартный футляр,
я любил тебя в сердце своем.

* * *

Помоги мне, смириться.
Дай мне силы остаться тем,
кем я был испокон:
мужем, отцом,
человеком чья жизнь занята целиком
тяжелым, невнятным трудом,
не дающим ни радости, ни покоя;
попыткам немного еще заработать
на хлеб насущный...

Я плакал, слушая «Апокалипсис».
Я слышал как тает мое ледяное сердце...
Под сводами «Домского»,
протестантского собора,
в заснеженной Риге, в Старом городе
холодным ноябрьским вечером.
(В «Домском» жесткие,
неловкие лавки,
к тому же не топят).

Разбуженные, вознесенные
хором мужским, детским хором,
колебались огромные ветви
тревожного звука.
И своды собора гудели,
как паруса, плотно набитые ветром.
И осыпался серебристой фольгой,
гул металлического огня.
И шумело под ветром,
и тяжелое падало на пол,
и взлетало, рассекая пространство
голосом чистым и женским,
Слово.
И возглашало дитя:
«Первый ангел вострубил».

Силы какие проснулись во мне,
что откликнулось в сердце
на слова Иоанна?
Если бы знать.

Смирись. Пусть будет, что есть,
пусть твое сердце болит.
Я хочу, но я не смогу, не выдержу, нет...

Судьба, как телега увязла
в чавкающей колее
по самую ступицу.
Какие же силы нужны,
чтобы стронуть ее.

Дай мне помощь, в труде ежедневном,
в каждом шаге моем.
Нет больше надежды,
гордых прав одиночества нет.
Слаб я.
Не верю в абсурд бытия.
Мир прекрасен, но я-то ничтожен.

Ничем я не заслужил твоей помощи,
нет во мне веры, и грязны мои помыслы -
славы хотел я. Прости мне, Господи.

Дай мне знак.
Чудо, которое совершилось,
слишком легко объяснить —
случайностью, совпадением, ошибкой...
Мир не любит чудес, не выносит —
слишком они тяжелы — тонут.
Мир смыкается топью,
ровняет разрывы ряской.
Не нужны чудеса, нет в них пользы.
Прячут венцы творенья
головы в песок материальный,
видно боятся услышать
страшную правду.

Прости мне, Господи.
прегрешения тяжкие,
неверье ничтожное,
окаянную гордость мою.
Если Ты хочешь...
Если Ты хочешь.

* * *

Разве можно так бездарно терять время?
А откуда ты знаешь, что ты его потерял?
Откуда ты знаешь, что эти минуты и часы
мучительной пустоты,
не самое важное в жизни твоей?
Может быть, та тишина,
что стоит внутри
и есть сгусток искомого смысла...

* * *

Я всплываю к свету из глубины, из-под глыб.
Велики сомненья. Не повернуть ли назад?
Может быть, я из породы придонных рыб?
Но тогда этот белый свет – для меня ад.
Мой крошечный ад, моя световая смерть.
Но куда тогда я? Кто я на этот раз?
О поверхность воды, о прозрачную твердь
ломается луч, и обломок режет глаз.

* * *

Осталось от августа две недели.
И лето закончится, в самом деле!
Мы его так долго и трудно ждали,
а оно пришло и прошло. Едва ли
было жарких дней пять от силы. Мы ли
последнее лето столетья пережили,
вздрагивая от холода против воли,
и сетуя на недостаток соли?

ОДНА НОЧЬ В АДУ

Я жил легко до последней ночи.
Но ее решил провести в аду.
Непреднамеренно, между прочим.
Но если все-таки проведу,
доживу до утра, дотяну до света,
пересыпанные песком глаза
отворив в темноту, я запомню это
утро, свежее как слеза,
отмывающая изображенья или
преломляющая семицветный луч...

Люди лежат, где они стелили
свои постели, двери на ключ
заперев, замерев в неудобной позе,
чутко вслушиваясь в тишину внутри
собственных тел. Метаморфозе
не мешай совершиться. Перегори:
до земли, дотла, до угля, до праха,
если хватит сил, если будешь жив,
то уснешь, не зная сорного страха,
голову на руки уронив.

* * *

Жизнь моя происходит за шагом шаг.
Пробужденье. Чашка кофе с молоком.
Сборы на службу. Среди срочных бумаг
кажется совершеннейшим пустяком
сочинение в день двух или трех строк,
непроизвольно родившихся под стук
клавиш, щелканье мыши. Таков итог.
Благоустройство судьбы есть дело рук.
Потому и не сетую, есть как есть.
У всего есть хорошая сторона.
Не опаздывает дурная весть
и всегда на удивленье точна.

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

Господи, сделай так,
чтобы все, кто пьет на завтрак пиво,
закусывает чесноком
или крепким репчатым луком,
купили себе мерседесы и вольвы!
И никогда не садились в автобус!
И никогда, никогда
не приближались к метро!

* * *

Оле

Этот город нами обжит.
Этот день – поворотный срок.
Нам с тобою принадлежит
этот сретенский уголок.

По Большому Головину
выйдем к Трубной, выпьем вина.
Наша юность лежит в длину
вдоль Большого Головина.

Время дворницких и пивных,
на губах налипший табак,
хлеб, разломленный на двоих,
оцарапает, как наждак.

Этот мир вполне повторим
шаг за шагом и день за днем.
Болен будущим Третий Рим,
где мы жили с тобой вдвоем.

Это – Сретенка и Труба,
молодой холодок в груди,
может быть, нам сама судьба
оставляет жизнь впереди.

* * *

Он умрет от цирроза,
очень рано умрет.
Это — грустная проза,
если доктор не врет.
Он загнется от рака,
рака толстой кишки.
Эким боком, однако,
нам выходят стишки.

* * *

Две девочки на фотоснимке.
Машины катятся по Минке
от Кубинки куда-то вдаль,
а жизни почему-то жаль.
Ведь в ней когда-то было что-то,
с чем расставаться неохота.
Припомнить только тяжело,
а время, в общем, истекло.

* * *

Я уже не справляюсь с самим собой,
пошляю, как бабушка на разбой
пошляла пирата. К чертям собачьим
уходи. Поиграй на зубах, на губе.
Путь из пункта А и до пункта Б
переобозначим.

Ощущенье вибрации тонких стен
или кровотоков по развилкам вен
омерзительны, словно приступ астмы.
Задохнувшийся тяжким кашлем пророк
что-то невразумительное предрек
в граммофонный раструб.

Дальше будет хуже. Ты уж поверь.
В темноту террасы открыта дверь,
накурили, пустили холод.
Мучили фортепьяно, играли в преф,
засыпали вповалку, перегорев.
Ты тоже был молод.

Полно, был ли? так ли? когда и где?
Больно били капли вода по воде,
переезд заходился трелью...
Размягчается мозг, как горячий воск,
но физически страшно напиться в лоск,
страшно черного, как земля, похмелья.

Попытка есть пытка. Так повелось.
Пегий пепел полуседых волос.
Сколько месяцев ты не стригся?
Не помню, наверно, довольно давно.
За окном пространство-время черно,
как волна на Стиксе.

* * *

А все-таки надежда теплится
на бытование глагола:
звук, замкнутый в строфе, колеблется,
в гортани тает -оро-, -оло-,
пока язык, живущий в колоколе,
раскачивается ударно,
и все, что зелено ли, молодо ли,
гуляет парками попарно,
и сталкиваются созвучия
с решеньем краевой задачи,
внезапным резонансом мучая —
и чуть не плача.

* * *

Я всегда легко уходил от живых.
Я махнул рукой: «Что за дело до них?
Я все заново переиграю».
Но потом наставал непрошенный миг,
и они возвращались ко мне, умирая.

МОЕ ПОКОЛЕНЬЕ

Мише Бутову

Мы пришли непоправимо рано.
Или поздно. Но не ко двору.
Воробьевы горы. Панорама
на промозглом мартовском ветру.

Жизнь крошилась, била и рябила.
Снег лежал как грязные бинты.
Если это было, это было
тем, что помню я и помнишь ты.

Помнишь молодые эти лица?
Замыслов туберкулезный чад.
Дорогие нам самоубийцы
рядом оглушительно молчат.

Столько горя в этой уккоризне,
что слова текут в небытие.
Второпях отброшенные жизни —
страшное сокровище мое.

Хорошо свободное паденье,
жаль, недолго. В сторону реки
вырождение наше — возрождение
трудно поднимается с руки.

Может быть, еще не все в отстое?
Может статься, именно сейчас
наше солнце, мартовское, злое,
к жизни разворачивает нас.

* * *

Хочется мне,
Убежать со службы,
бродить по городу, по магазинам, лоткам и развалам,
раскопать печатные груды,
купить долгожданную книгу,
читать, валяясь на диване,
грызть сухарики,
пить крепкий, свежезаваренный чай с лимоном и сахаром,
выгуливать свой организм вокруг Царицынского пруда
под свежим мартовским небом
и размышлять
 о Герцене и атеизме,
 о расширяющихся контекстах,
 о человеке и сильном антропном принципе,
 о жизни своей непростой, как сказал бы Сашушка Генин,
 о бесконечности,
 о возможных мирах, интеллекте и интернете,
 о Хакене и Пригожине,
 о диалектической логике и великой логической традиции,
 о Платоне,
 о собственной глупости и мировом уме,
 о композиции пушкинских «Бесов»,
 о «Свободе» и славе,
 о «Гибели богов» и энергии ненависти,
 и о многом другом, о многом другом.

Возвратиться домой,
усесться в кресло,
посмотреть живой интригующий футбольный матч...
И ничего, ничего, ничего не писать,
ни оператора, ни символа, ни строчки, ни слова, ни буквы,
ничего никогда...

* * *

Рифма не нужна.
Она — желанна,
как стигматы святой Терезе,
как стакан красненького
холодненького
Венечке
бедному.

ТОЛСТОЙ И СЫН

Однажды Сергей Львович Толстой
по пути в Ясную Поляну
завернул к приятелю
и немного у того задержался.
Когда под утро
уже в полный хлам
его доставили к родному порогу,
стоять на ногах он не мог
и всходил на крыльцо на четырех
конечностях,
вдумчиво переходя с иноходи на галоп.
Лев Николаевич,
рано поднявшийся в это утро,
вышел ему навстречу
и воскликнул растерянно:
— Господи, что это?
Сережа поднял на отца,
полные любви и печали глаза,
и ответил:
— Это — Ваше творение, Лев Николаевич.
Может быть, лучшее.

ЖИВОЕ СЕРДЦЕ**Трагедия**

В субботу я пошел на стадион.
На поле две столичные команды
в азарте заколачивали мяч,
то в левые, то в правые ворота.
Матч был отличный. Полтора часа
я охал, и ругался, и кричал,
наверно, что-то вроде: Феде дай!
Куда ж ты смотришь! Экое мазило.
Все было б просто славно. Но судья
все время ошибался: то увидел
офсайд и чистый гол не засчитал,
потом проспал пенальти очевидный,
а под конец и вовсе учудил:
любимейшего Федю выгнал с поля.
Само собой — поднялся жуткий хай
и кто-то закричал: «Судью на мыло!»
Я слышал этот возглас сотни раз,
но по тому, как изменились лица
и кто-то ядовито произнес:
«Давно пора, а то наел бурдюк», —
мне показалось: что-то происходит.
Конечно, эти перебои с мылом
всех здорово достали: по куску
хозяйственного в месяц на лицо, —
так ни на что ведь больше и не хватит,
прошу простить мне этот эвфемизм.

Опять с утра по радио Шопен.
Или не знаю кто, но только ясно,
что центр уже к полудню перекроют,
и если я случайно не войду
в родную похоронную команду,
которой руководство и партком
окажут честь от имени народа
проститься с незабвенным и великим,

то я останусь и без двух отгулов,
и без ежевечерней чашки кофе.
К несчастью, любимая кофейня
находится как раз за оцепленьем,
а похороны эти каждый год.

Вы посмотрите, как он бодро начал.
Конечно, молодой и энергичный.
Гудит «приспело время перемен».
Пускай разгонит эту богадельню.
Наверно, богадельню он разгонит,
а дальше что? Придут другие лица
моложе, злее – разве это лучше?
Ведь самому едва за пятьдесят,
а значит, он засядет в этом кресле
на двадцать лет – не меньше, может, больше.
Как только я подумаю об этом,
какая-то тоска меня берет.
Ведь что произойдет за двадцать лет?
Навряд ли я его переживу
с моим никчемным сердцем. Вероятно,
мне предстоит до гроба созерцать
его портрет на улице, в конторе,
да и везде – куда ни бросишь взгляд.
А как ни странно – я чего-то жду.
Ну, может, хоть полегче станет с мылом.
Он тут недавно долго говорил,
что, дескать, чистота – залог здоровья.

Сегодня мне приятель институтский
рассказывал, что много лет назад,
еще как будто при царе-тиране,
какой-то самоучка-одиночка,
как водится, босой и сумасшедший,
буквально на коленке разработал
отличный способ производства мыла
из трупов. Но тогда его, конечно,
прямохонько услали на Вилую.
Но метод-то остался. И теперь
его как будто снова раскопали,

и есть какой-то цех, почти секретный,
где этим занимаются. Сырья,
конечно, не хватает, и они
удумали чего: теперь ты можешь
им тело свое грешное продать
при жизни, и совсем не мало платят.
Конечно, это дикость; я боюсь,
что если эти слухи просочатся,
народ и вовсе мыться перестанет.

Все думаю об этом разговоре.
Но ведь скелеты сроду продавали.
А нынче получается у них
навроде безотходного процесса:
скелет – студентам-медикам,
жирок – на мыло, очень нужное народу.
Все вроде бы логично. Я не знаю,
к чему тут придерешься. Атеист
спокойно будет мыться этим мылом.
Ведь мясо мы едим, а тех баранов
перед употреблением забивают.
А здесь все совершенно добровольно.
К тому же можно и подзаработать.
Ну, в принципе, не все ль тебе равно,
сожгут тебя и станешь горсткой пепла
или отправят запросто на мыло.
Конец один, другого не бывает.

Сегодня я послушал выступление
великого по ящику. Оно
меня, признаться, просто поразило.
Он повторил буквально по слогам
то, что я думал. Может, покондовой,
а, в общем, то же самое, приплел
заботу о народонаселенье
и прочую туфту, но повторил.
Наверно, я провидец и пророк.
Ну что ж, теперь я должен согласиться
с ним или (то же самое) с собой.
Хотя я абсолютно не готов,

чтоб из меня, во благо, не во благо,
наделали отличнейшего мыла.
Он призывал, чтоб каждый завещал
по смерти свое тело государству,
тогда мы вместе справимся с проблемой —
антисанитарию победим
и будущее встретим в чистоте,
которая нам так необходима.
Газеты вышли с шапками: «Отдай
всего себя народу до конца!»
Уже не просят — требуют, но, впрочем,
они, наверно, все-таки правы.
Ведь говорил же классик: все равно,
где истлевать, — так хоть на мыловарне.
А мыла, кстати, не было и нет.

Я все-таки никак не ожидал,
что все зашло настолько далеко.
Но этот человек — не знаю даже,
что и сказать. Культурен, образован,
немного по-английски говорит,
и в нашем деле тоже понимает,
и термины не путает. Мне с ним,
наверное, работалось бы славно.
Он профессионален, это много.
Но это предложение отдает
каким-то непонятым неуютом.
Хотя, возможно, все мои слова —
не более чем чистоплюйство. Мне
предложено переменить работу,
пойти на этот мылокомбинат.
Как выяснилось, дело полным ходом
идет и перспективы необъятны.
Они купили технику; теперь
необходимо написать программы
учета и контроля и т.д.,
чем, собственно, всю жизнь и занимаюсь.
Но техника — конечно, не сравнить
с конторской нашей полуразвальной.
Ответа я не дал, сказал, что я

подумаю. Он дал мне трое суток
на размышление и осознание
величия и важности трудов,
мне предстоящих, если я решусь.

Нет, диссидентов я не понимаю.
Все эти посиделки-переглядки,
листовки на машинке, разговоры
и книжки запрещенные. Не знаю,
по-моему, вся эта болтовня —
банальнейшее самоублажение:
«Смотрите все, как я борюсь за правду».
Ну, здесь-то их, положим, не увидит
никто почти, красуются они
лицом на Запад, чтобы заработать
свой небольшой, но прочный капиталец
защитника, борца. Потом уехать, —
конечно, с помпой: выгнали, лишили
родной земли, обидели беднягу.
А там уже в спокойной обстановке
писать статьи, и пожинать плоды,
и выступать по радио «Свобода».
Нет, есть, конечно, искренние люди,
но эти просто дураки слепые.
Ведь изменить-то ничего нельзя:
как было, так и будет, хоть ты что —
хоть выпрыгни в окно, хоть влезь обратно.

Но все-таки там ставка вдвое выше.
А техника! Аж слюнки потекли —
цветные терминалы! Боже мой,
ведь это же уму непостижимо.
А здесь, ну что? Опять командировки,
а денег до зарезу не хватает,
дотянешь от получки до аванса —
и счастлив. Ну подумай, это жизнь?
А перспективы? Четко — никаких.
Жене, опять же, нужно сапоги.
Она свои-то носит десять лет.

Нет, надо будет с ней поговорить.
Наверное, она не согласится,
ну, ничего, быть может, уломаю.
Ведь там еще надбавки, прогрессивки
и премия за перевыполнение
процентов двадцать, а глядишь — и сорок.
И если не спустить на пустяки,
то можно загадать и о машине.
Ну, для начала, скажем, «Запорожец»,
а там, глядишь, быть может, и «Москвич»,
а может, даже «Волга». Ладно, брось
болтать, тебе до «Волги» плыть и плыть.
Нет, это все реально абсолютно,
в отличие от всех моральных нравов.

Я все-таки решился, и меня
добила несерьезная подробность.
Я ехал на назначенную встречу,
еще не зная толком, что скажу.
Но этот новый мой руководитель
сказал, что я и близкие родные,
когда я принимаю предложение,
имеют право на открепталон.
Теперь, чтоб человека схоронить,
берут спецразрешение из райкома, —
а выдают его совсем не всем.
Конечно, я прекрасно понимаю,
его почти всегда возможно взять.
Всего-то дать кому-то там на лапу,
кого-то там подмазать, чтобы все
вдруг осознали, что усопший пал
в рядах борцов за чистоту рядов.
Тогда его торжественно хоронят
с оркестром и речами от месткома.
Иначе после краткой панихиды,
а чаще просто прямиком из морга,
труп отправляют на переработку.
Но если я сотрудник предприятия,

спецразрешение на меня, жену,
детей и на родителей не нужно.
Такой открепталон. И я решился.
Конечно, это мелочь, предрассудок,
но, как ни странно, мне небезразлично —
останется могила или нет.

Конечно, вышло все совсем не так,
как рисовалось. Впрочем, деньги платят
действительно хорошие. Здесь грех
пожаловаться, а в столовой кормят
и дешево, и вкусно, прямо рай.
Но здесь, во-первых, строгая секретность,
ну, это ладно, я не собираюсь
пока по границам прохладиться,
а во-вторых — субботники в цеху.
Всего раз в месяц, правда, и потом
не на разделке же. Даст Бог — привыкну.

Теперь я постепенно понимаю,
зачем всю эту кашу заварили.
И мыло здесь, конечно, ни при чем.
А кстати, в магазинах все нормально,
по крайней мере — с мылом, но оно
французское и финское все больше.
Красивые такие упаковки.
У нас так не умеют. Даже вещь
хорошую и нужную в такую
дерюгу завернут — взять в руки страшно.
А впрочем, мы привыкли, лишь бы было.
Работаем-то мы на оборонку,
и потому все наше предприятие
относится к каким-то средне-общим
безликим безымянным министерствам.
Они из трупов получают яд
какой-то жуткой силы и лекарства,
которым нет цены. Нет, не у нас,
у нас с ценой все очень-очень скромно —
сырье бесплатно, труд почти бесплатно, —
а в мире чистогана, так сказать.

Я, кажется, совсем заболеваю.
Пью корвалол, а все щемит, щемит.
И мама говорит, что у меня
совсем плохое сердце. Надо будет
после конца квартала лечь в больницу.
Вообще, у нас отличная больница,
но почему-то я туда боюсь
ложиться. И в семье не больно ладно.
Все вроде бы нормально, да не все.
А мы теперь живем почти богато.

Теперь не вспомню, где я прочитал:
«Наш мир зависит только от того,
как мы с тобою смотрим на него».
А это верно, просто архиверно,
хотя, понятно, явный солипсизм.
А ведь когда-то я писал стихи —
и вроде бы неплохо выходило,
из Элиота что-то перевел,
хвалили. Впрочем, разве это важно?
Но вот ведь штука, раньше выхожу
из дома: утро, люди на работу
бегут, и так на сердце хорошо.
Какой-то был подъем. Вот я иду,
со всей страной иду, чтоб делать дело.
Меня тогда немало удивляло,
что утром люди знают время точно,
буквально до минуты. Иногда
я спрашивал кого-нибудь навскидку:
«Который час?» А он: «7:39»,
не глядя на часы. Я проверял
по собственным — и точно совпадало.

Теперь смотрю вокруг — все как-то серо.
Дома, и лица серые, и листья,
хоть им-то уж пристало зеленеть,
Нет, серые. Наверное, от пыли.
Наверно, это я переменялся.
Быть может, я состарился; быть может,
меня работа эта подкосила.

Но ей одной на свете и держусь,
ведь я всегда любил писать программы.
Я начал понемногу выпивать.
Да нет, я не запойный алкоголик,
не пьяница какой-то бытовой.
Но раньше-то ведь я совсем не пил.
Ну, в юности с ребятами в «Синичке»
стакан портвейна или пару пива.
Так ведь иначе было и нельзя,
чтоб не прослыть последним чистоплюем.
Но сам я это дело не любил,
и эти слезы пьяные, и этот
застольный треп не разбери о чем.
Когда женился, вовсе перестал.
На день рожденья — рюмку, в Новый год —
бокал, и как-то больше не хотелось.
Сейчас совсем не то, я не могу
уснуть. Лежу, ворочаюсь, встаю,
курю на кухне. Выпью — полегчает.
Затягивает мысли мутной пленкой,
и если не спокойно — безразлично.
Конечно, Ляля сердится, ворчит,
но водку покупает, — вероятно,
меня жалеет, и на том спасибо.

Решил послушать голоса друзей.
Глушили, но не очень. У меня —
великолепный штатовский приемник,
И что же мне сказали? По заказу —
поговорили обо мне самом.
Нет, не конкретно, а о предприятии,
где я тружусь. У них там все известно.
Ну, в общем-то, у нас как будто тоже.
Ох, комментатор шибко расхотелся:
и дикари, и каннибалы. Он
сказал, что мы уже живых людей
кончаем втихомолку, чтобы был
здоровый свежий труп, поскольку нам
нужны как раз такие. Так и есть.
Для новых и новейших технологий

нам нужен свежий и здоровый труп.
С тех пор как мы внедрили у себя
последних мудрых роботов, я сам,
можно сказать, разделяваю трупы.
Нет, не руками. Головной компьютер
руководит процессом. Я писал
программный комплекс этой обработки.
Я согласился? Я не соглашался,
меня никто не спрашивал. Нас всех
призвали в армию, и я теперь
майор госбезопасности. Высокий,
конечно, чин. А что я мог поделывать?
Но только вот о чем он голосит?
Ведь мне известно совершенно точно,
что только за последнюю неделю
ушла большая партия сердец
и почек и не знаю там чего,
но органов для разных трансплантаций,
ушла на Запад. Может, он не знает?
Наверно, это через третьи руки,
через какие-то седьмые страны.
Наверно, для негласных частных клиник.
Но сердце стоит чуть не сотню тысяч.
Да нет, не деревянных, а зеленых.
Так кто их платит? Сторож дядя Вася?
А деньги-то приходят регулярно.
Уж я-то знаю, черт меня дерит.

Мне кто-то говорил: свободный рынок
гораздо лучше плановой системы
и демократия гораздо лучше,
чем наш дикарский тоталитаризм.
Не знаю, да простит меня любитель
изысканного западного блюда,
но я не вижу разницы. Увы.
Он говорил: у них в свободном мире
такое невозможно. Я молчу,
но про себя я знаю: все возможно.
Ведь рынок чем прекрасен, тем и плох.
Ведь если есть на что угодно спрос,
то будет предложение, будь спокоен.
И если спрос есть на живое сердце,

то и оно уж где-то да найдется.
Другое дело — по какой цене.

Сегодня Тёпа не пришла из школы.
Как выяснилось, Ляля мне звонила,
а я был на объекте допоздна.
Меня уже замучил этот робот:
отказывается работать. Или
он что-то понял. Мистика, ей-богу.
Из школы принесли конверт с билетом,
довольно симпатичный, с петушками
и приглашением что-то посетить —
не помню что. Я знаю этот бланк.
Немного странно — ведь они берут
обычно из приемников, приютов
сиротских, самых-самых беззащитных,
чтоб не было огласки, шума, плача.
Я говорю «они», а надо «мы».
Наверно, в этот раз не подвернулся
никто. Нет, вероятно, это счет
пришел мне за отличную работу.
Ведь я же больше ни на что не годен.
Все заново пора переписать,
а с этим я не справлюсь, это знают
они прекрасно. Разве я могу
поднять какой-то шум? Конечно, нет.
Меня свободно можно сразу к стенке:
измена Родине — и все дела.
Прошло часов двенадцать. Да, почти.
Ее уже, конечно, нет в живых.
Я что-то тут бубню, а Ляля смотрит
огромными звериными глазами
и ждет. Чего? Каких-то объяснений.
Ну что ты, в самом деле, всполошилась?
Экскурсия, ну разве это плохо?
Приедет, все расскажет. Да, конечно.
Ведь я подробно знаю всю цепочку
от самого начала до конца.
А убивают, в общем-то, гуманно.
Конечно, не из человеколюбья.

Но стоит жертве что-то заподозрить,
как тут же в организме происходят
какие-то ненужные процессы.
Я, впрочем, в этом не специалист.
Ложись, передохни. *Довольно странно,
уехала и не зашла домой,
я собрала б ей что-нибудь в дорогу,
хотя бы бутерброды, мне тревожно.*
Ей больше ничего уже не нужно.
Сейчас, наверное, ее живое,
ее живое бьющееся сердце
подключат к автоному, и оно
ее переживет на много лет.
Потом его, наверное, вживят
какой-нибудь девчонке симпатичной
с веселой челкой. Не переживай,
ведь ничего как будто не случилось.
Не знаю, почему-то беспокоюсь.
А правда, что?.. Конечно же, вранье.
Но я ведь не спросила ни о чем.
Я знаю, что ты думаешь – неправда.
*Ну ладно, я пойду, но ты не пей
сегодня много.* Рюмку или две,
не больше. Ну, пока. Спокойной ночи.

Вот, собственно, и все. Наверно, завтра
придет уведомление о том,
что в результате автокатастрофы
погибла Тёпа, что сгорело тело.
И соболезнования родным
и близким. Но ведь есть же у меня
открепталон, так, может быть, они
вернут хотя бы тело, пусть без сердца...
Открепталон, мин герц, от слова креп.
Все кончено. Все кончено. Прости.

Очнулся он на кухонном полу.
Сел, огляделся, было ровно семь:
тот час, в который много лет подряд,
он поднимался со своей постели.

Он встал, умылся, долго чистил зубы.
Подумал: «Я практически не пил,
или совсем не пил, но почему
валялся на полу?» На автомате
оделся и, стараясь не шуметь,
он вышел на площадку. Долго жал
на кнопку. Лифт, конечно, не работал.
Он выругался и пошел пешком.
Между вторым и третьим этажом
увидел намалеванное сердце,
пронзенное стрелой. Его рвало
четырнадцать минут. В конце концов
он все-таки спустился. Подошел
к машине и нашупал ключ в кармане.
Попробовал открыть. Потом решил,
что сесть за руль не сможет. У него
дрожали руки. Шел июльский дождь,
слепой и теплый, как грудной котенок.
Он чувствовал, что у него в груди
нет ничего – и только пустота:
бездонная, сосущая, чужая.
Он запрокинул голову. Над ним
стояла радуга, но слезы на глазах
ее размыли, и она казалась
неимоверным мыльным пузырем.
Пузырь искрился, разбухал, летел.
В отчаянье он все же попытался
схватить немного воздуха, и в это
мгновение пузырь, качнувшись, лопнул.
И в меркнушем сознании мелькнуло:
«При чем здесь мыло, ну при чем здесь мыло?»
Он рухнул на газон. Сознание больше
к нему не возвращалось. Никогда.

А к вечеру домой вернулась Тёпа,
счастливая, уставшая, живая,
с экскурсии по пушкинским местам.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие Александра Иличевского	7
«Судьба человека состоит...»	9
ЗАНЯТИЯ ФИЛОСОФИЕЙ	
«Припомни свое опустевшее детство...»	10
Дорога на Спасск	11
Античные строфы	13
Письмо другу философу	15
Равноденствие	19
«В болезни есть изысканная прелесть...»	20
Червь сомненья	21
Автостоп	23
Последний идеалист	29
Критика практического разума	30
Паденье Трои	33
Красота	34
«Звезда наливается светом,..»	40
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА	
К стихам	41
Цирк	42
Юность	43
Первый учитель	44
Поцелуй	45
После метели	46
«Подробный анализ мыслей и поступков героя...»	48
Памяти друга	51
«Прогуливаясь по холодку...»	52

«Я один во всем виноват...»	53
«Я пил много дней и устал...»	54
Последнее лето столетья	55
«Мой первый творческий вечер...»	57
Разговор с историком.	59
Когда мы были молодыми.	60
Plath with Nicholas, December 1962.	61
Смерть вождя.	62
«Я - щука на белом песке...»	63
«Разве физическое страдание...»	64
«Когда человеку плохо...»	65
«Грехов-то и тех существенных нет...»	66
«Утро. Будильник...».	67
«Жить не хочется...»	68
«Помоги мне, смириться...»	69
«Разве можно так бездарно терять время?...»	72
«Я всплываю к свету из глубины, из-под глыб...»	73
«Осталось от августа две недели...»	74
Одна ночь в аду	75
«Жизнь моя происходит за шагом шаг...»	76
Утренняя молитва	77
«Этот город нами обжит...»	78
«Он умрет от цирроза...»	79
«Две девочки на фотоснимке»	80
«Я уже не справляюсь с самим собой...»	81
«А все-таки надежда теплится...»	82
«Я всегда легко уходил от других...».	83
Мое поколение	84
«Хочется мне...»	85
«Рифма не нужна...»	86
Толстой и сын	87
ЖИВОЕ СЕРДЦЕ. Трагедия.	88

Владимир Губайловский
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Книга стихотворений

Поэтическая серия «Русского Гулливера»

Руководитель проекта Вадим Месяц

Главный редактор серии Андрей Тавров

Оформление Маргарита Каганова

«Русский Гулливер»
тел. +7 495 159-00-59
<http://gulliver.commentmag.ru>
e-mail: a_tavrov@mtu-net.ru

Подписано в печать 07.07.2008. Формат 140x200.
Бумага офсетная. Гарнитура NewtonС.
Печать офсетная. Тираж 300 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «Cherry Pie».
115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., 12